

# ВАСИЛИЙ АВЕНАРИУС

НЕОБЫКНОВЕННАЯ  
ИСТОРИЯ О  
ВОСКРЕСШЕМ  
ПОМПЕЙЦЕ

Василий Авенариус

**Необыкновенная история  
о воскресшем помпейце**

«Public Domain»

1889

## **Авенариус В. П.**

Необыкновенная история о воскресшем помпейце /  
В. П. Авенариус — «Public Domain», 1889

«В Помпее случилось нечто невероятное... не в древней Помпее до внезапного исчезновения её с лица земли под вулканическими пеплом Везувия, а в Помпее наших дней, восстающей, спустя без малого два тысячелетия, из-под этого пепла...»

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	8
Глава третья	11
Глава четвертая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Василий Авенариус

## Необыкновенная история о воскресшем помпейце

### Глава первая Небывалая находка

В Помпее случилось нечто невероятное... не в древней Помпее до внезапного исчезновения её с лица земли под вулканическими пеплом Везувия, а в Помпее наших дней, встающей, спустя без малого два тысячелетия, из-под этого пепла.

Дело было так. На вакантную должность директора помпейских раскопок с полгода назад был назначен профессор Болонского университета Скарамуцциа. Выбор был как нельзя более удачен. В молодости своей Скарамуцциа был математиком и особенно пристрастия к физике. Физика завлекла его к родственным ей наукам – к технологии и естественной истории, а последняя – к медицине. По всем этим отраслям человеческих знаний он, за время своей тридцатилетней ученой деятельности, успел сделать замечательные открытия и изобретения, заслужившие ему европейское имя. Совершенно отдавшись науке, он дожил до 50-ти лет, не только не обзаведясь семьей, но не сведя даже дружбы ни с одним из своих ученых собратьев: наука заменяла ему и семью, и друзей. Точно также для него не существовали и произведения искусств, эти плоды «разгоряченной фантазии, взволнованной крови». И вдруг, к немалому удивлению его коллег-профессоров, в его взглядах и симпатиях совершился как бы крутой переворот: он стал усердно посещать картинные галереи и концерты, по часам беседовал с заклятыми эстетиками о законах стихосложения и контрапункта. Загадка, однако, вскоре разъяснилась: он напечатал объемистый том о художественных древностях. Между этими древностями и ископаемыми животного и растительного царств он проводил строгую параллель, доказывая, что ценность всякого предмета искусства прямо пропорциональна его древности. Взгляд его был более, чем оригинален: он был односторонен. Но в своих замысловатых доводах почтенный ученый высказал опять-таки такое основательное знакомство с сокровищами древнего итальянского искусства, что как только освободилось место главного начальника работ в Помпее, оно было предложено ему, – первому знатоку дела.

На ловца и зверь бежит. Как бы в каком-то предвидение, Скарамуцциа с особенной энергией возобновил раскопки в нетронutom еще уголке «Улицы гробниц». И вот, после шестимесячных непрерывных работ, настойчивость его была блистательно вознаграждена. Натолкнулись на подземную гробницу, замуравленную каким-то необычайно-твердым цементом. Благодаря нарочно приспособленным орудиям, удалось пробить этот цементный свод. Под ним оказался темный склеп. Подставили лестницу, и профессор, взяв зажжённый фонарь, лично сам спустился в глубину.

Оставшиеся наверху рабочие, утомленные тяжелой земляной работой, ничуть не любопытствовали заглянуть туда же. Они были довольны уже тем, что могли вздохнуть хоть минутку, поболтать на досуге, и расположились кругом на каменных грудах. Вдруг из-под земли их громко окликнул начальник:

– Сейчас позвать ко мне синьора Пульчинеллу, да принести мой плед и салициловой кислоты!

– Живо, живо, братцы! – сказал товарищам своим старший рабочий Джузеппе, и те со всех ног бросились исполнить приказание неумолимо-взыскательного директора.

Сам Джузеппе подошел к краю темной ямы, чтобы узнать, на что тому могли понадобиться плед и салициловая кислота. При слабом свете фонаря в глубине он различил прежде всего, разумеется, самого начальника с его огромной лысиной от лба до затылка и с роговыми очками на орлином носу. Стоял он над каким-то ящиком или гробом, в котором лежал, по-видимому, покойник. В руках же у директора была какая-то бумага, которую он читал и перечитывал с таким вниманием, что совершенно забыл, казалось, о присутствии мертвеца.

Осенив себя крестом, Джузеппе спустился по лесенке туда же. В гробу, действительно, оказался вполне сохранившийся труп или, вернее, мумия молодого еще человека, до того он иссох, – одни кости да кожа. Бумага же в руках директора была какой-то исписанный, пожелтевший от времени пергамент, который он, видно, нашел около мумии; и содержание рукописи должно было быть особенно радостно, потому что суровое, мрачное лицо ученого, никогда почти не озарявшееся улыбкой, просто сияло от удовольствия.

– Signore direttore! – решился заявить о своем присутствии Джузеппе.

Скарамуцциа обернулся и, увидев подчинённого, против обыкновения милостиво хлопнул его по плечу.

– А! это ты, fratello Giuseppe! Ну, я тебе скажу, это такой подарок неба...

– Пергамент-то?

– Нет, не пергамент; вон субъекта этот.

– Да что это, иностранный принц какой, что ли?

– Не принц, древний помпеец! Помпеец времен Тита...

– А Тит-то, кто же?

– Дурень!

– Дурень?

– Ты, ты – дурень, carissimo<sup>2</sup>! Тит – древний римский император первого века нашего христианского летосчисления. Понял?

– Понял.

– Ну, слава Богу. Гляди же.

Профессор с величайшею осторожностью прикоснулся пальцем до щеки мумии, и кожа на ней, под давлением пальца, поддалась.

– Замечаешь?

– Замечаю: мертвец, как быть следует. Предать земле, – и аминь.

Скарамуцциа с испугом отмахнулся.

– Господь с тобой! Зарыть такую драгоценность? Да я бы за нее не взял и ста тысяч лир<sup>3</sup>.

Джузеппе скорчил такую рожу, будто серьезно сомневался, в своем ли уме директор. Дальнейший разговор их был прерван прибытием помощника директора, синьора Пульчинеллы.

– На несколько дней, а может быть и недель, синьор Пульчинелла, вам придется здесь, в Помпее, вполне заступить меня, – объявил ему Скарамуцциа. – Я сделал такую находку, которая требует моего безотлучного пребывания в Неаполе. А что же плед и салициловая кислота?

– Eccolo!<sup>4</sup> – в один голос отозвались двое из подоспевших также рабочих, подавая ему то и другое.

---

<sup>1</sup> Братец Джузеппе.

<sup>2</sup> Любезнейший.

<sup>3</sup> Лира – итальянская монета, то же, что французский франк, по номинальной стоимости – 25 копеек.

<sup>4</sup> Вот!

Распустив плед и опрыскав его из склянки противогнилостною жидкостью, Скарамуцциа накрыл им мумию, после чего приказал рабочим наложить сверху крышку.

– Чем менее, друзья мои, вы будете разглашать о сегодняшней находке, тем лучше, – внушил он им. – А теперь снесите-ка мое сокровище на станцию. Только чур, не растрясите... Тише, тише!

– Ай, да сокровище... – перешептывались те между собой, вытаскивая на веревках гроб из ямы.

## Глава вторая

### Воскрешение помпейца

Гроб был пристроен в багажном вагоне. Самому себе Скарамуцци велел подать туда скамейку и уселся около своей находки: упустить ее из глаз хотя бы на время переезда до Неаполя казалось ему невыносимым.

Да! Этакого счастья ему и во сне не снилось. Несколько лет назад, в период увлечения своего медициной, ему довелось побывать в Индии. Там он имел случай наблюдать на месте зарытие в землю фанатика-факира. В течение целого месяца чудак этот приучал себя голодать, пока вовсе почти не обходился без пищи. Тогда его обмыли какими-то эссенциями; свернули ему во рту язык назад так, чтобы зажать изнутри отверстия ноздрей; клочками ваты, упитанной скоро-отвердевающим бальзамом, плотно заткнули ему рот, нос и уши; наконец, вымазали ему все тело особым составом и, как настоящего покойника, зарыли его в землю. Три месяца пролежал он так, не принимая пищи, не подавая ни малейших признаков жизни. Тут его вырыли, раскупорили тем же порядком, оттерли с головы до ног пахучими маслами и влили ему в высохшую глотку оживляющих капель.

Когда затем, вдуванием воздуха в лёгкие, нажатием грудной полости и механическим движением рук, стали возбуждать в нем искусственное дыхание, – труп внезапно ожил, восстал из мертвых.

С тех пор прошли годы. Профессор наш давным-давно забыл про бальзамированного факира. И вдруг сегодня судьба посылает ему этого редкостного «субъекта»! При первом взгляде ему бросилось в глаза поразительное сходство помпейца с тем факиром, – сходство не случайное, природное, а приданное обоим одинаковым способом сохранения их тел от тленья. Сердце в груди невозмутимого ученого ёкнуло, замерло. Он не смел почти верить в свое баснословное счастье. С трепетом взял он в руки ветхий пергамент, лежавший на груди бальзамированного. Но пергамент разом разрешил все сомнения: то был самый обстоятельный рецепт на латинском языке, как оживить бездыханного по истечении 30-ти лет, на который тот дал зарыть себя. Поставленное внизу число показывало, что зарытие состоялось за несколько дней лишь до разрушительного извержения Везувия, засыпавшего Помпею.

И вот, теперь этот единственный в своем роде экземпляр в полном его распоряжении! Здесь, в полупотемках багажного вагона, где его никто не видит, ему нечего стыдиться своей безумной радости.

– Милый ты мой! хороший ты мой! – бормотал он, ласковой рукою проводя по крышке гроба, как бы отечески трепля покоящегося внутри.

А ну, как он не справится с рецептом? – Да нет, он в свое время так основательно изучил медицину, что изготовить все эти аптекарские снадобья для него, но составит особенного затруднения. Собственноручно изготовить он их, ни души посторонней не допустить!

Никто не предвосхитит у него этого научного клада. Поскорей бы только добраться до Неаполя. А! наконец-то свисток!

Поезд вкатился в вокзал. Несколько носильщиков зараз вскочили в багажный вагон.

– Прикажете принять?

– Да, только, ради Бога, осторожнее, братцы!

Перенесение помпейца до городской квартиры профессора на набережной ди-Киайя совершилось без всяких приключений. Для такого дорогого гостя Скарамуцци отвел лучшее свое помещение – рабочий кабинет. Рассчитав носильщиков, он тотчас занялся приготовлением указанных в рецепте средств, а затем, при помощи единственного доверенного

лица – испытанного камердинера своего, Антонио, приступил к предписанным в рецепте манипуляциям над бальзамированным...

К сожалению, мы пока не вправе выдать самый способ предпринятого оживления, ибо способ этот до поры до времени составляет секрет синьора Скарамуцциа, который располагает взять на него привилегию. Можем сказать только, что первые старания почтенного профессора были безуспешны. Даже после заключительной операции – возбуждения искусственного дыхания, помпеец продолжал лежать пластом, не пошевелил ни пальцем.

– *Согро ди Dio!*<sup>5</sup> Отдохнем немножко.

Не желая показывать камердинеру своего отчаяния, Скарамуцциа опустил в кресло и закурил сигару. Три битых часа, ведь, он, заклятый курильщик, не делал ни одной затяжки. – и все напрасно.

Антонио также доработался до третьего пота. Отирая платком лицо, он в совершенном изнеможении прислонился к дверям. Хотя профессор и отвернулся от него к окошку, камердинер хорошо видел, с какою нервностью тот пускал к потолку клубы дыма: очевидно, и у господина его не оставалось уже надежды воскресить мертвеца.

– Да не сходить ли сейчас за гробовщиком? – решил предложить Антонио.

Скарамуцциа грозно на него оглянулся.

– Что?!

– Я только думал, сударь, что все равно толку не будет...

– Смей ты у меня только еще заикнуться!

Он быстро подошел опять к бальзамированному и кивнул камердинеру, чтобы тот взялся также за дело. Очень может быть, что и на этот раз все усилия их ни к чему бы не привели, если бы Скарамуцциа вынул изо рта сигару. Продолжая же курить, он волей-неволей пускал в лицо распростертого перед ним помпейца струю за струей табачного дыма. Не мешает здесь кстати заметить, что итальянский табак довольно низкого качества, и у непривычного человека от едкого дыма его неизбежно запершит в слизистых оболочках носа и горла. Вдруг ноздри помпейца задрожали, раздулись, и он чихнул и фыркнул так звонко, что наклонившийся над ним Скарамуцциа отшатнулся. Вслед затем мнимоумерший, не раскрывая еще глаз, поморщился и пробормотал, разумеется, по-латыни:

– Что это за отвратительный запах гари?

И господин, и камердинер от неожиданности просто остолбенели. Господин пришел в себя первый.

– Ах, голубчик ты мой! Ну, Антонио, скорей же вина и устриц!

Услышав чужой голос и незнакомую речь, помпеец повел кругом непрояснившимися еще глазами и остановил их на хозяине.

– Где я, и что со мною?

Скарамуцциа, как человек ученый, знал, разумеется, по-латыни, и объяснялся даже довольно свободно на этом языке.

– Ты в Неаполе и у добрых друзей. – отвечал он. – Ты помнишь вероятно, что дал когда-то закопал себя?

– А! правда. И я теперь ожил?

– Ожил – после довольно долгого сна.

– А именно?

Скарамуцциа опасался испугать едва ожившего и уклонился от прямого ответа.

– Как раз вовремя, чтобы дать мне познакомиться с тобою, – сказал он. – Не забывай, что ты пациент. Первым делом надо тебе подкрепиться. Эй, Антонио! Скоро ли?

– Несу, синьор, несу.

---

<sup>5</sup> Господи помилуй!

Не без некоторого усилия проглотил расслабленный пациент с полдюжины устриц. Когда же хозяин влил ему в рюмку старого вина, он сперва поперхнулся, раскашлялся, а потом закрыл опять глаза и впал тотчас в глубокое забытьё.

– Теперь мне можно идти, синьор? – спросил шёпотом Антонио.

– Ступай. Но, как сказано, – я никого не принимаю, ни единая душа не должна знать, что происходил в этих четырёх стенах.

– Синьор хочет делать над этим... «субъектом» научные опыты?

– Да. Но тебя это, я думаю, не касается?

– Точно так. Но, извините, синьор: у меня в груди тоже не камень, знаете, а сердце. Вы не станете его очень мучить?

– Мучить?

– Да, как, бывало, знаете, этих лягушек да кошек. Не будете вытягивать ему жилы, распарывать живот, сдирать с него кожу?

Скарамуцци нетерпеливо дернул плечом.

– Ты – малолетний. Антонио! Субъект мой – не лягушка, не кошка, а человек, как и мы с тобой. Интересует же он меня, как одушевленная древность, и изучить его с духовной, нравственной стороны я хочу ранее моих ученых коллег. Это ты, надеюсь, понимаешь?

– Как не понять.

Человеколюбивый камердинер на цыпочках удалился. Господин же его уселся за письменный стол, развернул большую, совсем чистую еще тетрадь, вывел на заглавной странице крупными буквами: «Мой дневник о помпейце» и принялся писать самый обстоятельный отчет о том, как был им найден и оживлён помпеец.

## Глава третья

### Репортер «Трибуны»

Прошло два часа, прошло три; помпеец все еще не просыпался. Нисколько раз Скарамуцци тревожно подходил к нему, наклонялся над ним: дышит ли он еще? Едва слышное, но ровное дыхание спящего всякий раз успокаивало нашего ученого.

Тут из-за дверей, из третьей комнаты донеслись к нему звуки двух спорящих голосов. Затем раздался легкий троекратный стук в дверь: так стучался один Антонио.

– Entrate!<sup>6</sup>

Стучавший, действительно, был Антонио. В одной руке у него была вазочка, наполненная визитными карточками, в другой – небольшая пачка таких же карточек.

– Это что такое? – с неудовольствием спросил его профессор.

– Карточки от разных господ, что хотели видеть вашу милость, узнать подробности про воскресшего.

– А ты уже проболтался, что мы его воскресили?

– Ой, нет, синьор! Я от всего отпирался. Да вот эти пятеро, – продолжал Антонио, указывая на бывшую у него в руке отдельную пачку карточек, – просто штурмом ломились в дверь. Еле-еле сдержал их.

– Да кто они такие?

– Газетные писаки. Извольте сами прочесть.

Профессор принял карточки и, хмурясь, прочел сквозь зубы:

– «Бартолино», репортер «Неаполитанского Курьера»; «Меццолино», репортер «Утра»; «Труфальдино», репортер «Родины»; «Педролино», репортер «Жала»; «Баланцони», доктор изящных искусств и корреспондент-репортер римской «Трибуны».

– Ну, да, так и есть! – проворчал он.

– Да, – подхватил Антонио, – четырех-то из них я кое-как еще ублажил; вечером обещались понаведаться. С пятым же не сладил: ворвался он силой в гостиную и говорить: «доложите, мол, что не уйду, куда самого не увижу».

Скарамуцци в сердцах даже топнул ногой.

– Cospetto del diavolo!<sup>7</sup> Нечего делать. Ты, Антонио, побудь уж покамест тут: неравно пациент наш проснется.

Он сам прошел в гостиную. Непрошенный гость развалился в мягком кресле, точно был лучшим другом дома. Это был мужчина средних лет, довольно неказистый на вид и неряшливо одетый, но в правом глазу у него был ущемлён монокль, вокруг измятого воротничка был намотан ярко-пунцовый шарф, приколотый золотой булавкой величиною с маленький грецкий орех и изображавшей мертвую голову; а на толстой золотой цепочке болтался карандаш в форме золотого пистолетика. Впрочем, за качество металла мертвой головы, цепочки и пистолета мы не ручаемся.

При входе профессора, гость на половину приподнялся, небрежно-элегантным жестом пригласит хозяина сесть рядом на диван и сам опустился опять в кресло.

– Лично, *signore direttore*, я не имел еще чести быть представленным вам, – начал он, – но позволю себе надеяться, что имя здешнего репортера римской «Трибуны» *dottore Balanzoni*, вам не совсем безызвестно?

---

<sup>6</sup> Войдите!

<sup>7</sup> Это чёрт знает, что такое!

– Слышал, – холодно отвечал профессор. – Чему я обязан честью видеть вас, *signore dottore*?

– Во-первых, я счел долгом от имени всей нашей отечественной печати принести вам искреннее поздравление с вашей удивительной находкой!

Скарамуцци принял недоумевающий вид.

– Я вас не понимаю, сеньор. О какой такой находке говорите вы?

Гость с приятельской фамильярностью хлопнул его по колену. *Bello, bellissimo!*<sup>8</sup> Кого вы вздумали морочит? Коли вес Неаполь толкует теперь только о вашем помпейце, так как же мне-то, первому репортеру, не знать о нем? Но что пока известно еще очень немногим – это то, что вы его оживили.

– С чего вы взяли? Неужели Антонио...

– Нет, Антонио ваш, я должен отдать ему честь, нем, как рыба, – с тонкой усмешкой отвечал репортер. – Но отчего же вы сами сейчас так испугались? Что значили ваши слова: «Неужели Антонио?..» Если бы оживление не удалось, то восклицание это не имело бы смысла... Погодите же, куда вы! – вскричал он, удерживая за полу профессора, который вскочил с места. – Ведь помпеец ваш спит; стало быть, вам некуда торопиться.

– Почему вы знаете: спит он или нет?

– Наверное, спит: иначе вы не оставили бы его одного. Только напрасно вы его с первого же раза так основательно напоили.

– Напоил?

– Ну, да, потому что без крепкого вина его, очевидно, сразу бы опять не укачало.

– Ну, *Lacrymae Christi* вовсе не так уже крепко...

– Однако, в таком количестве!

– В каком количестве? Одна рюмка и ребенку не повредит; а он взрослый мужчина...

– Да ведь с непривычки и почти натошак...

– Как врач, я руководился строгими правилами гигиены, и более полдюжины устриц, поверьте мне, я не смел ему дать.

– Не знаю, как и благодарить вас, *signore direttore!* – сказал Баланцони, с притворною сердечностью потрясая обе руки ученого. – Благодаря вашей любезной общительности, мой завтрашний фельетон, можно сказать, готов: воскрешение из мертвых – раз; рюмка *Lacrymae Christi* – два; полдюжины устриц – три; сон – четыре... А уж мое дело, фельетониста, разукрасить эти данные подходящими арабесками.

– *Maledetto!*<sup>9</sup> – пробормотал про себя Скарамуцци.

– Но скажите, *signore direttore*, – продолжал репортер: – к чему вы делаете из вашего помпейца какой-то секрет?

– Я возвратил его к жизни; значит...

– Значит, можете и распоряжаться им, как вашею собственностью? В наш просвещенный век, слава Богу, свобода личности вполне ограждена, и сам помпеец ваш первый протестует против вашего самоуправства с ним!

– Личная свобода человека вообще, конечно, священна, – отвечал профессор, морщась и нетерпеливо потопывая по ковру ногой; – по, не касаясь теперь вопроса о том, может ли такой выходец с того света почитаться равноправным с нами, современными людьми, – не следует забывать, что он страшно отоштал, и что на первое время для правильного откармливания его нужен безусловный покой.

– На первое время – пожалуй, согласен. А потом еще что же?

---

<sup>8</sup> Премило!

<sup>9</sup> Проклятье!

– Потом... От огромной массы новых впечатлений может пострадать у него цельность и ясность этих впечатлений. А для науки, как знаете, систематичность наблюдений особенно необходима, потому что он для нашего века новорожденный; душа его, как у младенца, по меткому выражению Аристотеля, – *tabula rasa*, незапятнанная доска, на которой всякий может писать, что ему угодно; а дайка эту доску в иные руки, – скоро на, ней ни одного чистого местечка не останется.

– Сравнение это принадлежит Аристотелю, говорите вы? – переспросил Баланцони, хватаясь за висевший у него на часовой цепочке пистолетик-карандаш.

– Аристотелю; сколько помнится, он говорит об этом во 2-й книге своего рассуждения о душе. Впрочем, и Цицерон сравнивает человеческую душу, непросветленную наукою и опытом, с плодородным полем, еще невозделанным и необсемененным.

– Не припомните ли также, где говорит он это?

– Говорит он это в своей речи... Да что вы там делаете, синьор? – прервал вдруг сам себя Скарамуцциа, видя, как гость его отодвинул обшлаг левого рукава и на своей манжетке принялся быстро отмечать что-то карандашом.

– Это у меня, извольте видеть, – пистолет, не огнестрельный, но не менее меткий, это – упрощенная записная книжка. Итак, к четырем первым пунктам я могу прибавить еще три: безусловный покой для правильного откармливания, Аристотелева *tabula rasa* из 2-й книги его рассуждения о душе, и, наконец, невозделанное поле Цицерона... Виноват, вы не досказали, в какой речи его упоминается об этом поле?

– Милостивый государь! – вспыхнул Скарамуцциа. – Вы записываете все мои слова?

– Ни все! – успокоил его репортер с приятнейшей улыбкой. – Только те, которые могут пригодиться для моего фельетона... Нет, нет, не перебивайте! Выслушайте сначала, а там решайте сами. Что мы, репортеры, народ довольно настойчивый, вы, я думаю, успели уже убедиться?

– Даже более, чем настойчивый...

– Назойливый, невыносимый, хотите вы сказать? Ну, вот, так я берусь избавить вас до поры до времени не только от моей собственной персоны, но и ото всех моих собратьев по перу, чтобы не мешать вам в ваших научных наблюдениях над помпейцем. Согласитесь, что это чрезвычайно мило?

– Согласен.

– Пока я буду довольствоваться теми немногими сведениями, которые вы сооблаговолите передать мне для удовлетворения всеобщей любознательности. Но все это, конечно, под одним условием...

– Чего же вам нужно?

– Очень немногого. Как только ваши эксперименты с помпейцем будут окончены, и он должен быть выпущен на свет Божий, вы тотчас предваряете меня о том и затем уже не препятствуете мне (только мне одному, слышите, а не моим коллегам!) общаться с ним, вывозить его, куда мне вздумается, и т. д., и т. д.

– Гм... – промычал Скарамуцциа. – Я вижу, *signore dottore*, что от вас не отвязаться. Но все-таки для меня непонятно, как вы принудите ваших коллег...

– Сейчас поймете, почтеннейший, сию минуту. Дайте мне только сперва ваше слово, – слово уважаемого всей Европой ученого, – что вы без всяких оговорок принимаете мою сделку.

– Ну, хорошо, хорошо! – со вздохом покорился тот неизбежному. – Итак?..

– Итак, извольте видеть: здесь, в Неаполе, все уже знают про вашего помпейца, и пока вы здесь, вам не будет отбоя от любопытных. Увезите же его отсюда на несколько дней в какую-нибудь глушь, увезите тихомолком в ночную пору, чтобы никто здесь и не подозревал, куда вы делись.

Скарамуцци хлопнул себя рукой по лбу.

– Какая ведь простая идея, а не пришла мне самому в голову!

– Гениальные идеи по большей части очень просты, – самодовольно усмехнулся Баланцони. – Как видите, они приходят иногда и простым смертным.

– Но пациент мой, боюсь, слишком слаб еще для такой поездки.

– Так вот что, – нашелся снова гениальный репортер: – оставайтесь-ка с ним преспокойно здесь, в городе...

– На этой самой квартире?

– На этой самой квартире; сделайте только вид, будто уехали. Я же, с своей стороны, озабочусь, чтобы завтра же во всех здешних газетах появилось сообщение «из самых верных источников», что вы с ночным поездом укатили в Рим, захватив с собой вашего драгоценного пациента.

– Вот это так! Вы, *signore Balanzoni*. я вижу, в самом деле, не такой уже...

– Простой смертный, как вы думали? Покорно благодарю! На этом разговор был прерван показавшимся в дверях Антонио. Профессор вскочил навстречу ему с дивана.

– Ну, что? проснулся?

– Точно так, синьор. Но что такое он лопочет, – хоть убейте, не разберу.

– А он еще в постели или уже встает? – вмешался тут Баланцони.

– Тс! Ни полслова! – остановил камердинера хозяин, зажимая ему рот рукою.

– Но уговор наш, *signore direttore*, остается, конечно, в силе?

– Да, да... До свидания...

И Скарамуцци без оглядки поспешил к своему пациенту.

## Глава четвертая Исповедь помпейца

Помпеец, действительно, проснулся. Глаза его с недоумением блуждали по комнате с предмета на предмет. Он, очевидно, не мог уяснить себе, куда это занесло его. Еще более озадачен казался он при виде входящего хозяина, одетого не в древнеримскую тогу, а в современный костюм: пиджак да брюки. По простая вежливость гостя в чужом доме не позволяла уже ему обнаруживать свое удивление по поводу этого уморительного кургузого наряда. С благодарной улыбкой он протянул профессору свою исхудалую руку.

– Прости, что я не встаю: один я не в состоянии еще приподняться. Ведь ты, конечно, спаситель мой?

– Мне, точно, выпало счастье возвратить тебя к жизни, – отвечал Скарамуцциа, осторожно пожимая поданную ему руку.

– Да благословят же тебя всемогущие боги! Дозволь мне теперь первым долгом возблагодарить святых пенатов приютившего меня крова.

По строгим губам ученого, не знавшим настоящего смеха, проскользнуло подобие усмешки.

– К сожалению, это неисполнимо, – сказал он, – пенатов у меня в доме нет.

– Да, в самом деле, – догадался помпеец: – ты, должно быть, чужеземец, судя по твоему странному одеянию.

– Нет, я итальянец, римлянин, как и ты.

– И у тебя нет пенатов?

– Нет, потому что я – христианин.

Помпеец с испугом осмотрелся кругом, не слышал ли кто посторонний этого безумно-смелого признания.

– Ты... ты приверженец той опасной ереси? – прошептал он, не смея громко произнести даже слово «христианин».

Профессора все более забавляло детское неведение взрослого младенца. Но, чтобы пациента не чересчур поразили дальнейшие новости, которые, так ли, сяк ли, предстояло ему узнать, надо было предварительно подкрепить опять его физические силы. Скарамуцциа кликнул Антонио, и, немного погодя, помпеец с жадностью уплетал жареного цыпленка, запивая его огнистым вином. Обсосав последнюю косточку, он со вздохом обтер салфеткой губы.

– Что, еще бы поел? – спросил хозяин, с удовольствием наблюдавший за аппетитом гостя.

– Да, признаться, еще пару таких же цыплят сейчас одолел бы...

– Успеешь: после такой голодовки сразу нагрузить совершенно пустой желудок не безопасно. Теперь, если хочешь, я готов ответить тебе на всякий вопрос. Ты был удивлен, что я, как итальянец, исповедую христианскую веру. Что скажешь ты, когда узнаешь, что все вообще итальянцы, все европейцы открыто исповедуют ту же веру?

– Не может быть! Ты шутишь?

– Не думаю шутить. Разве я похож на шутника?

– Но этот шутовской наряд...

– Весь образованный класс ходит теперь в таком же платье.

– Что я сплю еще, или ум у меня мешается?

– Ни то, ни другое, друг мой. Ты только пролежал довольно долго в земле.

– До тридцати лет?

– Несравненно долее.

– Неужели сто лет?

– Слишком восемнадцать столетий.

– О, Лютеция! – вырвалось из уст помпейца, и глаза его подернулись слезою. – Стало быть, её не только нет уже в живых, но пепел её развеяло на все четыре стороны...

Он погрузился в глубокую задумчивость. Скарамуцциа счел за лучшее не прерывать его грустных размышлений, чтобы дать ему оправиться и привыкнуть к действительности.

– Ты нашел меня в моей помпейской усыпальнице? – вдруг очнувшись, спросил помпеец.

– Да, только нынешним утром.

– Через восемнадцать столетий! Но чем объяснить, что до сих пор никто другой не вырыл меня?

– Ты лежал под грудой пепла.

– Так моя усыпальница сгорела?

– Раз, милый мой, тебе надо узнать правду: всю Помпею Везувий засыпал своим пеплом.

– Великий Юпитер! И ничего от неё не осталось?

– Напротив, вся она прекрасно сохранилась, – благодаря именно тому, что была засыпана. Ты слышал, конечно, про знаменитого натуралиста твоего времени Плиния?

– Как не слышать! Я имел честь даже принимать его у себя на вилле моей вместе с молодым племянником его, Каем-Плинием-Цецилием.

– Так вот дядя, Плиний Старший, погиб, наблюдая тогда извержение Везувия; племянник же, Плиний Младший, спасся и описал потом это извержение. Если хочешь, я сейчас прочту тебе его рассказ?

– Прочти, прочти, сделай милость!

Доставь из книжного шкафа требуемый том, Скарамуцциа прочел вслух отчет очевидца о разрушении Помпеи.

– И мне одному суждено было пережить всех их на столько веков... – проговорил помпеец. – Ну, что ж! богам угодно было продлить мой век, – исполним их высшую волю. Но до сих пор я не знаю еще, кому обязан своею жизнью?

Скарамуцциа удовлетворил его вопрос; затем, в свою очередь, заметил:

– Но ведь и мне еще неизвестно, кто гость мой?

– Виноват, великодушный друг! – воскликнул помпеец. – Первою обязанностью моей, разумеется, должно было быть, – успокоить тебя, что ты спас и приютил у себя не совсем недостойного. Слушай же. Я ничего от тебя не скрою.

Зовут меня Марком-Июнием-Фламинием. Фламинии, как ты, может быть, слышал, одна из древнейших фамилий римских патрициев. Отец мой. Марк Туллий Фламиний, в течение долгих лет занимал место проконсула в Родосе. К несчастью, он ослеп и вынужден был отказаться от дальнейшей службы. Мы возвратились в Рим; но, чтобы сделать из меня, своего единственного сына, достойного себе преемника, он взял с собою из Греции в наставники мне молодого философа Аристодема. До сей минуты не могу вспомнить об этом дорогом мне человеке без сердечного умиления! Он принадлежал к благородной школе Платона и, взявшись воспитать меня, весь отдался своей задаче, стараясь пробудить во мне одни чистые, светлые стремления, любовь к ближнему, к науке, к прекрасному. Пускать в дело ферулу<sup>10</sup> ему никогда не приходилось: не выпуская из рук грифеля и восковой доски, я готов был весь день сидеть у ног его и слушать его мудрые поучения. Но расчёт отца все-таки не совсем оправдался. Мне не было еще и 17 лет, как отец умер, оставив меня полным

---

<sup>10</sup> Ферула – линейка, которою били по ладоням ленивых и непослушных учеников.

наследником всего своего состояния, очень значительного. Пустыми мирскими развлечениями римской молодежи я, правда, уже не увлекся. Но Аристомед давно томился тоской по родине и наговорил мне столько чудесного о своей милой Греции, что увидеть опять эту колыбель древнего искусства, которую я помнил только как сквозь сон, стало моей заветной мечтой. И вот, мы снарядили корабль, посетили сперва Родос и другие острова Греческого Архипелага, а там добрались и до самой Греции. Мы не пропустили, кажется, ни одного города, ни одного местечка, где совершилось что-либо замечательное, где сохранился какой-либо памятник искусства. Так одна Греция заняла у нас два года. Двухлетняя кочевая жизнь до того избаловала меня непрерывно-сменяющимися впечатлениями, что обратилась в неутолимую страсть. Наставник мой старался было образумить меня; но и самого его, может-быть, тянуло в чужие, неизведанные страны, и он не долго упорствовал, когда убедился, что я в конце концов настою на своем.

Так побывали мы с ним в Египте, в Мидии и, наконец, забрались в самую глубь Азии – в Индию.

Но тут я был жестоко наказан за свое упорство: Аристомед, в котором я видел уже не столько наставника, сколько лучшего друга и старшего брата, заразился индийской повальной болезнью – холерой, и в 24 часа его не стало. Надо ли говорить о моем отчаянии? Довольно того, что я потерял всякую охоту к жизни, – и стал отказываться даже от пищи. Неизвестно, чем бы я кончил, если бы во мне не принял участия один индийский факир, Амбаста, с которым мы последнее время перед тем вели горячие ученые споры. Участие его ко мне было, правда, скорее научное, чем человеческое.

– Ты, значить, уже не дорожишь жизнью? – спросил он меня.

– Нисколько, – отвечал я.

– Но науку ценишь?

– Ценю.

– Так пожертвуй собою для науки!

– Каким образом?

– Ты, помнишь, оспаривал, чтобы человек мог прожить три месяца без глотка воды, без куска пищи?

– И теперь не верю.

– Так отдайся мне ради науки!

– Но что ты сделаешь со мною?

– Боли тебе я никакой не причиню. Ты сам не заметишь, как заснешь; а через три месяца увидим, – кто был прав.

– То-есть, ты один увидишь, что я был прав; я уже не проснусь.

– Не проснешься, – так достигнешь только того, чего сам хочешь: вечного покоя, нирваны; стало быть, ничего не потеряешь. Итак, отдаешься, или нет?

– Отдаюсь, пожалуй.

Факир мой не дал мне одуматься, набальзамировал меня, как бездушный труп, усыпил меня наложением рук и закопал в землю. Сам я этого уже не сознавал; не чувствовал, сколько времени пролежал так в земле. Но когда я очнулся, то оказалось, что я пролежал ровно три месяца. Я должен отдать справедливость Амбасте, что он принял все меры, чтобы вернуть меня к жизни. Он даже перемудрил, не в меру поусердствовал: точно он налил мне в жилы какой-то чудотворной жидкости, у меня явился волчий голод, а кровь в жилах ключом заиграла. О смерти я забыл и думать; жизни, самой веселой, безрассудной жизни жаждал я всем существом. Но строгий быт богомольных, трудолюбивых индусов не давал мне развернуться. Легкомысленные потехи беспечных, разгульных римлян, которыми я когда-то пренебрегал, представлялись мне теперь особенно заманчивыми. То, чего у нас нет, всего более, ведь, нас прельщает. Я тут же решил возвратиться в Рим. Как ни отговаривал меня мой аскет-

факир, который смотрел на меня уже как на свою собственность, я настоял на своем. Тогда он, скрепя сердце, собрался также вместе со мною. Он предвидел, что я еще пригложусь ему для новых опытов, а может быть, впрочем, он несколько тоже привязался ко мне. В Риме я тотчас обзавелся лучшими учителями по всем частям, требующим телесной ловкости, и вскоре в фехтовании, в метании дротика, в стрельбе из лука, в езде на колеснице, а также во всяких безрассудствах, между молодыми патрициями не было мне равного. Тут до меня дошел слух о молодой Лютеции, которая яркою звездой блистала между всеми красавицами Помпеи. Подобно другим патрициям, я собирался купить себе приморскую виллу, где мог бы спастись от летних жаров. Теперь выбор мой остановился на Помпее. Вилла была скоро найдена, знакомство с отцом красавицы, квестором Помпонием, было скоро заключено. Как Юлий Цезарь, я с первого шага в дом рассчитывал «прийти, увидеть, победить». А между тем «пришел, увидел и был побежден» – побежден и божественной красотой её, и еще более дивной игрой её на арфе. Сама Эвтерпа<sup>11</sup> водила её перстами! Земное счастье без её казалось мне невыносимо. Но, смелый с другими, я робел перед нею, как мальчик, боялся заговорить с нею о женитьбе. Нерешительность моя меня погубила. Пока я колебался, Лютеция с отцом собралась к родным в Кумы. Там судьба свела ее с дальним родственником, Публием-Касием, писанным красавцем и щеголем первой руки. Заворожил ли он ее сладкими речами, подсыпал ли ей волшебного зелья, – только домой, в Помпею, она вернулась уже его невестой. Не скажу про него более ничего дурного: его нет ведь тоже на свете. *De mortuis nil nisi bene*<sup>12</sup>. Но для меня точно солнце погасло на небосклоне: и глядеть на Божий свет мне стало тошно и горько. Мой единственный друг, факир, старался меня ободрить и утешить.

---

<sup>11</sup> Эвтерпа – муза лирического песнопения и музыки.

<sup>12</sup> О мертвых одно хорошее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.